

В.З. Демьянков

ЯЗЫКОВЫЕ ТЕХНИКИ «ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ»¹

Эволюция научной мысли состоит не только в изобретении новых подходов к предмету исследования, но и в «продвижении» и «презентации» взглядов – как новых, так и традиционных. Это сказывается на том, как создаются тексты, отражающие эмерджентные взгляды на предмет исследования. Когнитивно-лингвистический анализ динамики науки позволяет выделять и классифицировать используемые языковые средства – «языковые техники» трансфера знаний. Рассмотрим некоторые классы языковых техник, используемых для подачи научных положений.

1. Термин «трансфер знаний»

В переводоведении термин «трансфер знака» используется в значении «перенос некоторого знака как элемента некоторой знаковой структуры и как потенциала формы и функции в состав другого знака в качестве элемента другой знаковой структуры». С помощью этого понятия описываются прямые и обходные маневры при переводе «трудных» выражений с одного языка на другой.

Трансфером знаний в широком смысле называют передачу от человека к человеку не только практических и теоретических сведений, но и навыков, установок, предпочтений в выборе подходов к решению житейских или научных проблем (см.: [Демьянков, 2015]). Такие знания переносятся из одной позиции в «информационной системе» человека в другую позицию – той же или другой системы.

¹ Печатается по: Демьянков В.З. Языковые техники «трансфера знаний» // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии: Коллективная монография / Отв. ред. В.В. Фещенко; Ред. колл.: Н.М. Азарова, С.Ю. Бочавер (отв. секретарь), В.З. Демьянков, М.Л. Ковшова, И.В. Силантьев, М.А. Тарасова (редактор-корректор), Т.Е. Янко. – М.: Культурная революция, 2016. – С. 61–85.

В узком же смысле трансфер знаний – перенос мнений или теоретических достижений (иногда – и предрасудков) из одной сферы жизни человека в другую. Так, метафора – употребление выражения в «переносном» смысле, когда в терминах одной области знаний говорят о том, что известно меньше и / или хуже. Это переход от знания, данного непосредственно, к знанию, полученному опосредованно.

В последнее столетие очень широко исследуются различные виды трансфера знаний, когда понятия той или иной социальной или гуманитарной науки анализируются в опоре на то, как об этих понятиях принято говорить в обыденной речи, которая, как предполагается, является добором. Этот подход к анализу политически нагруженных слов получил название лингвистической политологии. Классифицируя различные контексты употребления слов и / или конструкций, делают выводы о том, каковы обслуживаемые «политические культуры». А классифицируя различные контексты употребления научных терминов и / или конструкций в обыденной речи, делают выводы о том, что же лежит за соответствующими научными понятиями.

Трансфер знаний лежит в основе небуквального употребления языковых выражений, когда о предметах, не данных непосредственно, говорят в терминах других предметов, данных опосредованно. Тогда имеют дело с трансфером «от известного к неизвестному». В частности, техники анализа обыденных значений слов, используемых в научном и политическом дискурсе, позволяют выявить механизмы такого трансфера знаний.

Такой взгляд на метафору вытекает, например, из концепции В.Н. Телия, представленной еще в 1980-е годы. В этой концепции принимается, что метафора «...способна обеспечить рассмотрение вновь познаваемого через уже познанное, зафиксированное в виде значения языковой единицы. В этом переосмыслении образ, лежащий в основе метафоры, играет роль внутренней формы с характерными именно для данного образа ассоциациями, которые предоставляют субъекту речи широкий диапазон для интерпретации обозначаемого и для отображения сколь угодно тонких “оттенков” смысла» [Телия, 1988, с. 179]. И далее: «...метафоризация – это процесс такого взаимодействия указанных сущностей и операций, которое приводит к получению нового знания о мире и к языковлению этого знания. Метафоризация сопровождается вкраплением в новое понятие признаков уже познанной действительности, отображенной в значении переосмысляемого имени, что оставляет следы в метафорическом значении, которое в свою очередь “вплетается” в картину мира, выражаемую языком» [Телия, 1988, с. 186].

Одни и те же феномены человеческого бытия можно объяснять с нескольких точек зрения. В частности, с точки зрения культурной и цивилизационной.

Как известно, термины «цивилизация» и «культура» соперничают в различных концепциях развития человеческой ментальности. А именно –

французский термин *civilisation*, вошедший в середине XVIII в. в научный оборот и во Франции, и за ее пределами, имел значение «культура как образ жизни». Недаром, в отличие термина *культура*, изначально этот термин не имел формы множественного числа: когда говорили о цивилизации, имели в виду некоторый единственный, уникальный, идеальный образ жизни, взятый в отвлечении от различий, существующих в реальных обществах¹. Термином же *культура* западноевропейские исследователи обозначали различные экзотичные общества, за пределами «западной цивилизации». Вот почему сегодня стихийно установилось такое разграничение задач: культурология занимается исследованием культуры глазами носителя этой культуры, а этнология – глазами внешнего наблюдателя, т.е. с точки зрения цивилизации, а не самой этой исследуемой культуры.

В языкознании XX–XXI вв., стартуя с универсалистской площадки, видят аналогию между цивилизацией и универсалиями языка, с одной стороны, и культурами и идиоэтническими особенностями языкового употребления – с другой. Иначе говоря, выражаясь языком пропорций, имеем: цивилизация так относится к культурам, как «универсальный язык» («универсалии языка») относится к исторически засвидетельствованным языкам.

При таком понимании цивилизационные ограничения на исторически засвидетельствованные языки можно представить себе как границы, предопределяющие развитие языков в рамках существующей цивилизации.

Выявление этих границ в гуманитарных науках происходит методом «реконструкции» (внутренней и / или внешней): рассматривая реликты и «слабые места» в наблюдаемых свойствах реальных языков, устанавливают, какие расхождения между языками случайны, а какие обусловлены языковыми универсалиями, лежащими в основе когнитивного механизма всех человеческих языков. Методы такой культурологической реконструкции оказались весьма плодотворными для современной лингвистики. Здесь эти методы используются не столько для восстановления внешней формы языковых знаков – того, как они выглядели или звучали в далекие времена праязыка, – сколько для выявления системы закономерностей, связывающих языковые знаки между собой и с их значениями в речи. В любом случае имеем дело с интерпретацией эмпирических данных и в цивилизационно предначертанных рамках (когда ученый стремится к «надкультурной», этнологической реконструкции), и в рамках конкретной культуры (когда исследователь по той или иной причине вольно или невольно «заземлен»

¹ «“Civilization” was a term coined in France in 1750 s and quickly adopted in England, becoming very popular in both countries in explication of their superior accomplishments and justification of their imperialist exploits [...]. The meaning was the same as the sense of “culture” as a way of life that is now proper to anthropology. Among other differences, “civilization” was not pluralizable: it did not refer to the distinctive modes of existence of different societies but to the ideal order of human society in general [...]» [Sahlins, 1995, p. 10–11].

на конкретную национальную культуру и не обладает амбициями выйти за ее пределы).

Интерпретируя факты, а также чужие и свои высказывания, человек обладает свободой, которая также может по-разному рассматриваться: в цивилизационном и / или культурном формате. В этом аналогия с диалогом, когда мы стремимся понять другого человека, понять себя, понять только текст и т.д. – в зависимости от своей техники понимания, от того, к чему мы подготовлены в большей степени своим предшествующим диалогическим опытом. Понимание – одновременно и интерпретативная деятельность (в этом можно видеть культурную обусловленность), и идеал, к которому мы стремимся (и в этом – цивилизационная составляющая понимания). Однако поскольку понимание – оценочный термин (ср.: правильно, хорошо понять vs. неправильно, неадекватно понять), связанный с ценностями, а потому и с выбором из множества альтернатив, то понимание обладает и своими культурами [см.: Демьянков, 2001, с. 318], и своей цивилизацией. Соответственно, прогресс искусства понимания можно видеть в расширении свободы каждого отдельного человека при выборе своего «параметра», своей позиции на шкале альтернатив. Это способность выбрать, как воспринимать речь в данном эпизоде своей жизни [там же, с. 319].

Интерпретация же текста предстает перед нами как занятие, связанное с решением интеллектуальной задачи – с распознаванием значения, иногда глубоко спрятанного. И этот момент также прекрасно уловила В.Н. Телия: «Узнавание метафоры – это разгадка и смысловая интерпретация текста, бессмысленного с логической точки зрения, но осмысленного при замене рационального его отображения на иногда даже иррациональную интерпретацию, тем не менее доступную человеческому восприятию мира благодаря языковой компетенции носителей языка» [Телия, 1988, с. 204].

Сегодня, когда освоение большого эмпирического материала происходит в опоре на большие корпуса текстов, с помощью «понимающей» социологии текста (или социологии дискурса) исследуются многие важные когнитивно нагруженные понятия. Этот метод лежит в основе, например, контрастивной лингвистической философии, исследующей обыденную речь о философски нагруженных понятиях в разных языках.

Исходным для этого метода является вопрос: почему об одних и тех же идеях, тождественных в рамках данной цивилизации, в разных культурах говорят по-разному? И говорят ли действительно об одних и тех же идеях (как если бы они принадлежали одной общей для разных народов цивилизации) – или имеются в виду совершенно разные идеи?

Такое исследование может не только давать лингвистические результаты, но и служить пропедевтикой для философского исследования, ни в коей мере, впрочем, не подменяя его: ведь этот лингвистический метод имеет отношение к исследованию языка, а чисто философская интерпретация требует и иных приемов для анализа данных, иногда связанных с

«хирургическим вмешательством» в наличный интеллектуальный аппарат философа.

Таким образом, на границе между философией и языковедением лежит выявление тех аспектов языка, которые позволяют взглянуть на цивилизационный мир, лежащий за пределами родных национальных (т.е. «культурных») ворот.

Вряд ли есть прямая зависимость между употреблением слов и философскими установками разных народов, говорящих на разных языках. Тем не менее наблюдения приводят нас к вопросу: а действительно ли мы говорим об одних и тех же вещах на разных языках? Сомнения в этом приводят некоторых исследователей к тому, чтобы считать фантомом само понятие цивилизации.

Сегодня на повестку дня вышло эмпирическое исследование ограничений, накладываемых цивилизацией на конкретные языки: можно предположить, что в рамках различных языков не только хранятся различные данные о внеязыковой действительности, но и задаются различные пути трансфера знаний. Иначе говоря, пути познания одних и тех же (универсальных, цивилизационных) сущностей в различных языках и культурах различны.

2. Интеллектуальная революция

Трансфером знаний можно назвать передачу не только эмпирических и теоретических сведений, но и навыков, установок, предпочтений в выборе теоретических подходов и в решении научных проблем. С помощью такого трансфера поддерживается «научный тонус» в общении между представителями различных поколений ученых (межпоколенный трансфер) и различных научных дисциплин (междисциплинарный трансфер).

Эти два вида трансфера взаимосвязаны, грань между ними очень условна. Поколение – люди, объединяемые природным или благоприобретенным сходством облика и / или действий. В науке неполным аналогом поколений являются научные парадигмы. В результате интеллектуальных революций, а также новых тенденций («поворотов» и «волн») в интеллектуальной жизни общества изменяется «концептуализация» трактуемых предметов и возникает новое «поколение», этими предметами занимающееся. При этом изменяется не только отнесение предметов к тем или иным классам, но и то, как в научных текстах говорят об этих предметах. Интеллектуальные революции выражаются и в новой постановке вопросов об этих предметах, и в новых способах на эти вопросы отвечать.

В то же время, в отличие от научной теории, парадигма не представляет собой завершённое решение всех задач. Парадигма – как свидетельствует употребление этого слова [Демьянков, 2009] – образец, которому следуют в своих научных построениях ученые. А выбор образца предо-

пределяется не только объектом исследования, но и человеческими отношениями между учеными. Одним из важнейших направлений передачи, или «трансфера», знаний является влияние работ одного ученого – создателя парадигмы – на последователей этого ученого, особенно на его учеников и ближайшее окружение.

Теория может стать основой для парадигмы, если научное сообщество начинает признавать ее образцом для подражания. В таком словопотреблении о парадигме говорят как о чем-то вроде «заслуженной теории» или «респектабельного научного направления», при этом упоминают успехи, достигнутые сторонниками этой парадигмы. В речи о теории в фокусе внимания находится объект теоретического объяснения. А употребляя термин парадигма, имеют в виду, прежде всего, человеческий фактор теоретических объяснений и схему, по которой исследование проводится, протоколируется и интерпретируется.

В нашу эпоху междисциплинарности можно выделить два класса трансфера знаний в лингвистике. Один вид связан с экспортом достижения лингвистической мысли за пределы языкознания, когда лингвистический анализ используется, например, в литературоведении или в философии. В противоположном направлении происходит трансфер, когда лингвисты импортируют в языкознание свежие идеи и теоретические конструкции извне, например из математики, литературоведения и т.п. Об интеллектуальной революции говорят как о том, что еще актуально, развивается, особенно же часто – как о том, что еще только обещает принести плоды [George, George, 1972, p. xxix], благотворные для смежных дисциплин [Lanigan, 1988, p. 157]. Итак, интеллектуальная революция по определению должна быть актуальной. А о «прошедшей», неактуальной революции чаще говорят как о перевороте.

Интеллектуал по природе своей видит революционность во всем новом и необычном, лишь бы это новое не было очевидно абсурдным, ср.: [Nagel, 1995, p. 26]. Практика переубеждения состоит не только в прямом предъявлении опровергающих данных, но и в «интертекстуальной» демонстрации [Boudreau, 1996, p. 23–24] того, что сами формулировки рассматриваемой теории более дефектны, чем конкурирующие положения оппонентов, ср.: [Boudreau, 1996, p. 23–24].

3. Характерные черты и симптомы научной революции

Рассмотрение обширной литературы по данной проблеме позволяет выделить различные черты и разновидности научной революции, из которых упомянем только несколько:

- резкий рост объяснительности;
- превосходство нового над старым;
- межэпохальность и межпоколенность;

- наддисциплинарность, междисциплинарность, трансдисциплинарность;
- персональность vs надличность;
- развенчание очевидности – бегство от тривиальности, поиски удивительного.

Соответственно этим «параметрам» можно говорить о языковых техниках «презентации» научных «прорывов» в специальных и в научно-популярных публикациях.

3.1. Резкий рост объяснительности

Наука состоит из описывающей и объясняющей частей, соединяемых очень тонкой нитью. Запас наблюдений растет со временем, до тех пор пока не обнаруживаются противоречия между разными данными в рамках господствующей теории. Поэтому иногда кажется [Тулмин, 1972/84], что в науке меняется только объясняющая, но не описательная часть и что с развитием теории мы просто избавляемся от лишних ограничений, навязываемых господствующим взглядом на вещи там, где наблюдение подсказывает иной ход мыслей¹. В отличие от «рутинного» углубления теории, в научной революции видят или хотят видеть сочетание новых фактов с новыми объясняющими гипотезами [Wright, 1971, p. 169]. Без такой революции, открывающей глаза исследователей на мир, мы не увидели бы новые факты и продолжали бы видеть мир в прежнем свете.

3.2. Превосходство нового над старым

Революционность – термин оценочный. Чтобы констатировать революционность, новый взгляд соотносят со старым и оценивают как более достойного претендента на истину. Процедура соотнесения предполагает наличие точек соответствия и / или дополнения между старой и новой теориями (ср. принцип соответствия Н. Бора). Эти соответствия устанавливаются на текстуальном, терминологическом, идейном или ином уровне, ср.: [Pearce, Rantala, 1985, p. 15]. Однако с новыми теориями приходят и новые понимания старых терминов. Так на каком понимании – на старом или на новом – должно базироваться оценочное сравнение теорий? Когда подобные вопросы переходят из разряда праздных в разряд существенных, налицо революционная ситуация: это языковой признак революции, приносящей с собой смешение научных языков – старого и нового.

¹ П.К. Фейерабенд полагал, что научная революция – результат такого разрыва [Feuerabend, 1991], однако человек никогда не может быть вне какой-либо теории – поэтому и возникает новая теория или версия теории; см. также: [Preston, 1997, p. 210].

И такое смешение напоминает то, что происходит, когда новое поколение общается со старым и достигает взаимопонимания, однако не абсолютного, а только в степени, (по-разному) существенной для каждой из сторон. Старое поколение говорит тогда о «загрязнении интеллектуальной среды» [Stegmüller, 1986 а, р. 1], а представители нового считают себя санитарями для старой¹. Изменяется и тематическая направленность в рассмотрении одних и тех же вещей [Holton, 1973], вследствие чего меняются и сами понятия: компоненты значения терминов, раньше казавшиеся существенными, теперь нивелируются, и наоборот – нечто малосущественное в объеме понятия становится общепризнанно существенной или даже главной стороной старого понятия.

Такое превосходство не обязательно бывает «объективным»: большую роль играют пиаровские техники, позволяющие даже небольшой новации приписать огромный вес в глазах научной и обывательской обществности.

Помимо задач пиара языковые техники в этой области нацелены на прояснение формулировок, разграничение понятий, устранение нечеткостей и скрытых противоречий в бытующих формулировках.

3.3. Межэпохальность и межпоколенность

Революция межэпохальна, лежит на границе интеллектуальных эпох, более или менее непрерывных во времени и в пространстве. Из таких эпох и состоит история науки [Blumenberg, 1976], подчиняющаяся законам изменения общества. Такие эпохи различаются:

– тем, какие проблемы ставятся: существенное в одну эпоху в другую признается фантазией или догматизмом;

– тем, какие решения проблем ожидаются и насколько терпимо воспринимаются противоречия или даже неясности в этих решениях.

На границе же между интеллектуальными эпохами господствует тенденция к равновесному состоянию. Революция является проявлением, а не причиной нарушения этого равновесия.

Так, при чтении текстов основоположников новой парадигмы (скажем, Гейзенберга, Бора, Эйнштейна или Хомского) бросается в глаза заостренность, нарочито явная подача расхождений с предшественниками.

¹ Например, К. Попперу в теории научных революций Т. Куна [Kuhn, 1973] наиболее подозрительным казался термин *нормальная наука* [Stegmüller 1986 а: 295], а не положения последнего, не в последнюю очередь и потому, что английское *science* отлично от *Wissenschaft* в родном для Поппера немецком языке [Houningen-Huene, 1989, р. 16]. Да и сам термин *революция* оценивается обществом, недавно обжегшимся на социальной революции (как в Германии, России, Австрии и т.д.), не так же, как обществом, очень давно пережившим социальные взрывы (как в Великобритании или США).

И только со временем, в результате балансировки, эти острые углы все больше сглаживаются [Neuser, 1995, p. 18]. Как эволюцию или как революцию мы часто характеризуем одни и те же явления – в зависимости от того, из какой временной точки мы их наблюдаем. Т. Кун [Kuhn, 1962] говорит о революциях, поскольку его точкой наблюдения является тот период, когда баланс грозит потеряться. А вот интеллектуальные волнения прошлого кажутся скорее эволюционными, на них смотрят с философским спокойствием, подобно тому как смотрят на биологическую эволюцию [Beach, 1997, p. 11].

Для стороннего наблюдателя во время революции никакая сторона не может претендовать на истину в последней инстанции. Революция – предприятие рискованное, и это революционеры чувствуют. Революционный пыл объясняется тем, что приходится выступать за те гипотезы, истина которых еще не в деталях доказана. Главное первоначальное достоинство революционных гипотез – «креативность», новизна и свежесть взгляда, иногда, впрочем, только кажущиеся, ср.: [Heath, 1978, p. 86–87]. Новые гипотезы противопоставляются тому, что ранее вызывало сомнения, а в новую эпоху объявляется пережитком прошлого, – как классический психоанализ в психиатрии и марксизм в философии в конце XX в. [Shorter, 1997, p. vii]. Не следует забывать, что Коперник, Маркс, Фрейд и Эйнштейн выросли в старом интеллектуальном мире и остаются в нем хотя бы «одной ногой». А вот для поколения, вырастающего после революционеров, новые установки являются родными, «нормальными» и совсем не революционными.

Языковые техники трансфера, служащие продвижению научной революции, нацелены на подчеркивание «продвинутости» нового поколения, «стоящего на плечах» своих предшественников и уже поэтому занимающего более высокий социальный статус в глазах «прогрессивного человечества».

3.4. Наддисциплинарность, междисциплинарность, трансдисциплинарность

Можно различать глобальную и локальную научные революции или общеродовое и специфическое употребление термина «научная революция» в значении «скачкообразное изменение господствующего образа мыслей в науке» [Cohen, 1994, p. 21]. Для глобальных научных революций характерно изменение самого отношения к научному занятию, к критериям научности, а также к институтам (что связано с возникновением различных академий, лабораторий, научных обществ и т.п.). Так, в европейской науке эпоху XVI–XVII вв. (особенно первое десятилетие XVII в.) связывают с возникновением новых критериев научности и профессиональности [Rossi, 1991/97, p. 265]. В частности, парадигма физики Ньютона (1642–1727) была и часто остается идеалом таких наук, как химия и

биология, и в значительно меньшей степени – для общественных наук [Neuser, 1995, p. 1].

Причем изменения научных парадигм заразительны: научные революции приводят к изменению установок и за пределами науки, в иных интеллектуальных сферах – в литературе, искусстве, образе жизни и т. п. [Коугэ, 1980]. Именно с представлением о бесконечности мира в пространстве и времени пришло и осознание бесконечности жизни в иных сферах, за пределами науки. Естественно, что локальные научные революции происходят гораздо чаще, чем глобальные, затрагивают интересы отдельно взятых наук и не создают подобных междисциплинарных парадигм.

Наблюдения за развитием лингвистических теорий показывают, что прототипом революционной теории является концепция, претендующая на объяснение явлений даже далеко за пределами науки о языке. Иначе говоря, глобальные теории тем более революционны, чем в большей степени позволяют воспарить над нуждами, над обыденной практикой данной научной дисциплины.

Языковые техники, связанные с этим параметром революционности, нацелены на междисциплинарный трансфер знаний – на перенос теоретических достижений из одной научной дисциплины в другую, когда происходит приращение объяснительности и для облагодетельствованной дисциплины, и для дисциплины-донора.

3.5. Персональность vs надличность

В эпоху, когда происходит интеллектуальная революция, наблюдается бурный рост количества имен, связанных с развитием новой идеи. Не всегда *post factum* можно выделить одну, центральную фигуру, однако всегда наблюдается большое количество сторонников, не просто следующих революционной идее (такое ограниченное следование можно было бы назвать интеллектуальной модой), а «авторски» (т.е. с авторским правом на явные творческие ростки) развивающих общую идею. Таково положение и в социальной революции: вспомним Великую французскую революцию, имя главной фигуры которой до нас не дошло, но в памяти остались Робеспьер и Дантон. Таково же положение в техническом прогрессе: лазерная и компьютерная революции в общественном сознании обывателя не связаны с центральной фигурой, но можно упомянуть большое количество людей и фирм, развивающих центральную тенденцию.

Тем не менее в науке нередко и иное, когда центральная фигура дает имя научной революции, ср.: коперниковская революция, галилеевская революция. Однако начиная с XX в. революции и в науке получают название чаще не по фамилии ученого, а по названию тенденции или прототипической теории: генеративная революция связана с именем Хомского (название «хомскианская революция» чаще употребляют противники ге-

неративизма), на знамени структуралистской революции – Ф.де Соссюр («соссюррианство» звучит не очень уважительно); о том, кто главный автор когнитивной революции, единодушия нет и вовсе. Таким образом, наука сегодня рядоположена общественному движению.

3.6. Развенчание очевидности

В литературе по философии науки выделяются два устойчивых эпитета научной революции безотносительно к конкретной научной дисциплине: коперниковская и галилеевская. Им соответствуют и два типа интеллектуальной революции.

Коперниковская революция связана с легализацией взглядов, диаметрально противоположных бытующим, но не квалифицированным официальным сообществом как верные и самоочевидные. Вместо самоочевидного «Солнце вращается вокруг Земли» коперниканцы защищают противоположное: «Земля вращается вокруг Солнца»¹.

«Мы наблюдаем восход и заход солнца, что может быть более очевидным свидетельством в пользу геоцентрической модели?» – вопрошали оппоненты Коперника. Для коперниканцев же эта беспроblemность только кажущаяся, поскольку восход и заход солнца могут быть объяснены и при гелиоцентрической точке зрения, которая заодно объясняет и солнечные затмения (наблюдаемые, впрочем, значительно реже, не каждый день).

Итак, коперниканцы стремятся расширить спектр объясняемых явлений, принося в жертву непосредственную очевидность, в то время как доминировавшая ранее теория охватывала статистически самые частые явления. Противники коперниканцев имеют право сказать: «Зачем навредить тень на ясный день, когда и так все ясно?» Коперниканцы же объясняют более широкий спектр явлений, находят именно для них непосредственное объяснение, а то, что было ранее непосредственно ясно, получает теперь опосредованное и, возможно, менее естественное (со старой точки зрения) объяснение [Redding, 1996, p. 5–6].

Исследователь-коперниканец на время «остраняется» от своей обычной точки зрения, чтобы исследовать саму эту обычную точку зрения, сделать ее объектом исследования [Nagel, 1986, p. 4–5]. Остранение как

¹ Именно в этом смысле говорят о коперниканском перевороте, совершенном Г. Фреге в логике. До него считалось очевидным, что высказывание должно согласоваться с реальностью; сегодня тоже является расхожим мнением, что высказывания «отражают» реальность в той или иной мере, что в этом отражении и состоит смысл употребления языка. Фреге же, по мнению некоторых исследователей, говорит о реальности, согласующейся или не согласующейся с конкретным высказыванием: «Frege achève une révolution copernicenne en sémantique en ne réglant plus l'énoncé sur la réalité? Mais la réalité sur l'énoncé» [Nef 1991: 26]. Добавим, что это согласование производится (в разной степени удачно) интерпретацией высказывания, осуществляемой носителем языка, согласующим свои представления о мире с интерпретируемым высказыванием.

прием (в искусстве или в науке) – один из способов «объективации» [Williams, 1978, p. 241], притом что граница между объективным и субъективным очень зыбка [Nagel, 1986, p. 5].

Коперник отнял у человека привилегированный статус центра Вселенной, казавшийся ранее самоочевидным. Кант совершил коперниковскую революцию в философии [Bowie, 1997, p. 31], предложив отказаться от того положения, что в своем познании мы должны следовать за объектами. По Канту, сами изучаемые объекты должны следовать за нашим познанием, поскольку все равно мы не можем увидеть в этих объектах больше, чем дано нам по нашей природе. Дарвин также был коперниканцем, показавшим, что человек не является центром природы не только во Вселенной, но и на родной Земле. Фрейд же продемонстрировал, что человек хо не является хозяином и в своем собственном доме – в своем сознании: то, что раньше прямолинейно объясняли как результат сознания, оказалось продуктом подсознания. А постмодернисты и постструктуралисты постарались окончательно развенчать субъективность [Nietala, 1990, p. 1].

Итак, в коперниковскую установку входит настороженно-подозрительное отношение ко взглядам, доставшимся нам от древности [Kamm, 1995, p. 28]. Отсюда – только один шаг до того стиля теоретизирования, который получил название «критика языка».

На всех этапах науки есть данные, от которых на время отвлекаются представители доминирующих взглядов, поэтому понятие фальсифицируемости, по К. Попперу, должно быть принято с оговорками не только в физике, но и в языкознании [Lightfoot, 1979, p. 75]. Это обстоятельство подрывает основы доминирующих взглядов. Революционеры-коперниканцы, называемые иначе диссидентами, популяризируют сведения о слабости доминирующей теории и формируют если не конкурирующую целостную концепцию, то по крайней мере программу действий. В результате вырисовывается новый взгляд, при котором иные наличные концепции оцениваются как фальсифицируемые или нефальсифицируемые [Lakatos, 1970]. Скажем, далеко не все наблюдаемые данные сходились с концепцией Коперника, но от них диссиденты отвлекались, поскольку эти данные занимали маргинальное положение в ядре общей исследовательской программы [Lightfoot, 1979, p. 76]. Социальные революции, поддерживаемые массами, по определению также являются коперниканскими, поскольку им предшествует широкое распространение определенных взглядов на социальную справедливость. Иначе говоря, теория-меньшинство приобретает статус доминирующей теории.

В истории языкознания, говоря о коперниковских революциях типа той, которая связана с грамматикой Пор-Рояля¹, имеют в виду не полный

¹ Подход, который, по [Padley, 1985, p. 382], означал синтез концепции рамистов (последователей Аристотеля, предвосхищавших структурализм), ориентировавшихся на форму выражения, с логизмом, при котором принимается, что внешний облик высказывания не всегда прямо отражает логику высказываемой мысли.

отход от господствующей теории, а компромисс между распространенными взглядами, в совокупности противопоставленный господствующей точке зрения [Joly, Stéfanini, 1977].

Примером коперниковской революции была и структуралистская революция [Ullmann, 1958, p. 4], когда были легализованы идеи, бытовавшие в умах и раньше, но официально не принимаемые в качестве «научных» в сообществах лингвистов, а именно:

– синхронное описание языка не менее научно, чем историческое, поскольку обладает методами [Stozier, 1988, p. 1], в конечном итоге приводящими к целостному представлению о предмете; до Соссюра об этом знали все, но не все отваживались прямо это сказать, не рискуя быть обвиненными в ретроградстве, в приверженности к взглядам, господствовавшим до сравнительно-исторического метода;

– язык – не нагромождение разнородных элементов, а система, организованная целостность, «гештальт» [Ullmann, 1958, p. 4], части которого взаимозависимы; главное же – система, устройство которой не обязательно лежит на поверхности и должно быть выявлено, иногда методами Шерлока Холмса.

Итак, структурализм можно квалифицировать как коперниковскую революцию, поскольку на первых порах он выглядел как возврат к давно скомпрометированным взглядам: ведь он подчеркивал отказ от положения, под знаменем которого прошел весь XIX век – от всеобъяснительности эволюционной концепции развития человека и общества, когда главным, если не единственным, критерием объяснительности был историзм.

Галилеевский стиль (термин Гуссерля) и галилеевская революция связаны с созданием нового образа мышления в научной дисциплине, приводящего к неожиданным или парадоксальным результатам. «Очевидность реальности обманчива» – таков основной девиз галилеевского стиля [Haase, 1995, p. 5], см. также: [Reiss, 1997, p. xi]. Предлагаемое теоретиком объяснение в рамках такого стиля метафорично, наглядно соединяет разные стороны наблюдаемых явлений, бывает настолько привлекательным, что сторонники такой теории отвлекаются иногда от неточного соответствия предсказаний фактам: конструкты имеют большую ценность, чем осязаемая реальность¹.

Галилеевское объяснение противопоставляют аристотелевскому [Lewin, 1930/31, p. 423] или платоновскому [Wright, 1971, p. 2] по линии: каузальность vs. телеологичность (или механичность vs. финалистичность). Теоретик при этом доверяет конструктам, им самим создаваемым, больше, чем своим органам чувств [Chomsky, 1980] (впрочем, лингвистика пока еще не может в полной мере довериться своим конструктам, см.: [Chomsky, 1982, p. 33]). Особенно уместен такой подход, когда исследуемый объект доступен нам только через посредство инструментов (в есте-

¹ В постмодернистскую эпоху такое предпочтение созвучно любви к комиксам, заменяющим подлинники литературных произведений [Turia, 1992/97, p. 11].

ственных науках) или с чужих слов (в гуманитарных науках). Этот научный стиль предполагает учет степени надежности самих конструктов [Grewendorf, 1985, p. 89], т.е. допустимости идеализации объекта исследования. Например, полагаясь на показания информанта о правильности предложения, о семантических соотношениях между разными версиями его и т.п., лингвист (часто – носитель языка) должен задуматься над причинами своих разногласий с информантом. Кроме того, теоретики различаются изобретательностью в придумывании конструктов для объяснения («эксplikации») данных и глубины интерпретации изобретаемых формальных систем [Geier, 1986, p. 36].

Эти разновидности интеллектуальной революции – коперниковская и галилеевская – соотнесены между собой, поскольку переход на диаметрально противоположные позиции (коперниковский переворот) не исключает парадоксальности. Однако для коперниковской революции важным предварительным условием является наличие официального консенсуса, а для галилеевской такой социологический фактор не существует.

Глобальная коперниковская революция в гуманитарных науках начала XXI в. не была возможна, поскольку не было консенсуса. Именно поэтому модель научной революции, предложенная Т. Куном, для философии, истории, лингвистики и теоретического литературоведения начала XXI в., не идеальна: в это время, а еще больше – в конце XX в. консенсуса в названных дисциплинах не было даже по самым центральным вопросам [Percival, 1976, p. 292], каждое теоретическое исследование начиналось каждый раз как бы с нуля [Stegmaier, 1988, p. 59].

Однако мы постоянно наблюдаем локальные перевороты в нашей науке. Поскольку же в результате революции теория-победительница начинает претендовать на роль консолидатора, а консенсус противен общественным наукам нашего времени в принципе (общественные науки по природе своей диссидентны), эта теория приобретает налет академической замшелости там, где раньше стремились просто к респектабельности. По свидетельству Дж. Серля [Searle, 1996, p. 23], такой была судьба аналитической философии в 1950-е годы¹.

Языковые техники в подаче революционных научных взглядов, связанные с данным параметром, нацелены на поиски и предъявление пара-

¹ Ср.: «Analytic philosophy has become not only dominant but intellectually respectable, and, like all successful revolutionary movements, it has lost some of its vitality in virtue of its very success. Given its constant demand for rationality, intelligence, clarity, rigour and self-criticism, it is unlikely that it can succeed indefinitely, simply because these demands are too great a cost for many people to pay. The urge to treat philosophy as a discipline that satisfies emotional rather than intellectual needs is always a threat to the insistence on rationality and intelligence. However, in the history of philosophy, I do not believe we have seen anything to equal the history of analytic philosophy for its rigour, clarity, intelligence and, above all, its intellectual content. There is a sense in which it seems to me that we have been living through one of the great eras in philosophy» [Searle, 1996, p. 23].

доксов в рамках схем: «очевидное – невероятное», «А знаете ли вы, что...» и в подобных заостренных формах.

4. Поворот мысли

Термины *поворот мысли* (так можно условно перевести английское *turn* и немецкое *Wende* в таких словосочетаниях, как *linguistic turn*, *pragmatic turn*, *cognitive turn*, *interpretive turn* и т.п.) и *волна* (например, прагматическая волна) лишены драматизма, привносимого термином *революция*, и относятся скорее к интервалу времени, чем к точке. Ведь поворот замечается только после того как произошел, и вернуться не всегда возможно.

Языковые техники подачи новаций при «поворотах мысли» также привносят меньший драматизм, чем при научной революции.

Лингвистический поворот мысли¹, а точнее, поворот мысли в сторону языка, означал повышенное внимание к языку², к тому, как глубины языка проявлены в дискурсе гуманитарных наук – в философии, литературе, истории, социологии.

Там, где раньше говорили о предмете исследования, теперь все больше говорят о языке человека как об организующем звене научного дискурса, касающегося существования, реальности, мышления человека [Baker, 1995, p. 1]. Ведь границы языка очерчивают и границы познавае-

¹Этим термином Густав Бергманн [Bergmann, 1953] назвал поворот мысли, произошедший в философии под влиянием логического атомизма Расселла, Мура и Виттгенштейна, а также логического позитивизма Шлика, Карнапа и Венского кружка [Nacker, 1996, p. 4]. Позже сам Бергманн, Куайн, Гудман и Селларз рассматривали – в разных направлениях – традиционные онтологические проблемы через призму языка как вопросы синтаксиса и семантики формального языка, более прозрачного, чем естественный [Hochberg, 1984, p. 11]. Позже этим термином был назван переход от эпистемологии к исследованию языка в философии XX в., начатый намного раньше Гумбольдтом в русле кантовской философии [Rorty, 1967 a], особенно [Rorty, 1980] (главы 6 и 7), см. об этом: [Ward, 1995, p. 50–51]. Еще одна хронологическая версия – рубеж XIX и XX вв., когда философы стали считать своей задачей не описание действительности, переведенное на язык философской системы, а выяснение в нашем знании того, что уже по своей буквальной формулировке представляется сомнительным. Рассматривая даже такие банальности, как обыденные представления и восприятия (книги Э. Маха «Анализ восприятий» и Р. Авенариуса «Человеческое понятие мира» были бестселлерами в конце XIX в.). Сильный импульс этой перестройке дало развитие квантовой механики (1900) и специальной теории относительности (1905). Тогда-то и начал интенсивно развиваться научный метод не только метафизики, но и теории литературы [Nürrauf, 1996, p. 116–117].

²Это повышенное внимание к языку иногда называют рефлексивностью языка [Condit, 1995, p. 209] – интерес к воздействию языка на человека, когда полагают, что язык обладает структурой, воздействующей на человека так, что он воспринимает предметы и говорит о них, стремясь не противоречить этой структуре.

мости предметов, поэтому все, что мы узнаем и / или сообщаем о нашем мире, опосредовано языком: мы ограничены выразительными возможностями языка. В этом аналогия с исполнительским мастерством в искусстве: с помощью классического танца исполнитель может выразить практически весь универсум своих мыслей и чувств, но лишь в рамках канонов этого танца. Постигание же универсума, лежащего за пределами самого сообщения в рамках канонов, – задача интерпретатора (самого исполнителя и / или его зрителя), вычисляющего по внешней форме сообщения прямые и переносные смыслы в соответствии со своим собственным внутренним миром.

То, что мы считаем действительностью, мы также конструируем в опоре на язык [Kitcher, 1992], поэтому нельзя утверждать, что язык устанавливает референцию к реальному миру как к объективно существующей и независимой величине. Иногда, прибегая к олицетворению речи, говорят, что эту действительность конструирует наш дискурс [Wilkin, 1997, p. 24]. Тогда субъект не играет той роли, которую ему приписывал И. Кант: мы от рождения помещаемся в герменевтические круги, или формы жизни, в которых и формируются наши мировоззрения. При таком взгляде унаследованное от Просвещения представление о рациональном субъекте требует переосмысления. Там, где раньше занимались вопросом: «Что такое знание?», теперь начинают с анализа употребления слова *знание*, а размышление и речь о понятиях привязывают в первую очередь к фактам языка [Everitt, Fisher, 1995, p. 2] и только опосредованно – к самим понятиям. О связности (т.е. логической непротиворечивости) мира можно говорить тогда только в той степени, в какой это допускает наш язык.

Итак, с одной стороны – язык со своей логикой, с другой – мир человека [Olafson, 1995, p. 3] – «со своими тараканами». Отсюда взгляд на философию как на логико-лингвистическую реконструкцию языка в его употреблении человеком [Olafson, 1995, p. 4], что предполагает интерпретативный подход к тексту [Fornago, 1988], см.: [Демьянков, 1989].

Парадным примером поворота мысли в языкознании является идеология структурализма (подробнее см.: [Giddens, 1987, p. 73–74]), в рамках которой:

– определенные лингвистические теории были объявлены главными для философии и социологии¹; положение о важности для лингвистики других дисциплин принималось и в предыдущие эпохи, не отказываются от них и в новую эпоху²;

¹ Ср.: «Исчерпывающее описание языкового материала содержания требует участия других наук; с нашей точки зрения, все они, без исключения, имеют дело с языковым содержанием. Итак, мы пришли к тому, как нам кажется, обоснованному взгляду, что все науки группируются вокруг лингвистики» [Ельмслев, 1943, с. 335].

² Ср.: «То, что составляло главное содержание традиционной лингвистики – история языка и генетическое сравнение языков, – имело своей целью не столько познание

– подчеркиваются целостность и «глубинная» (не всегда очевидная, но реконструируемая) структурированность исследуемого объекта, произвольности знака и примата означающего над означаемым¹;

– субъективность в употреблении языка сама проблематизируется и становится объектом исследования²;

– на передний план выдвигаются пространственно-временные координаты развертывания и интерпретации «осязаемого» текста, т.е. формы.

Событиями более локального масштаба стали прагматический и коммуникативный повороты мысли, т.е. тематизация в лингвистическом исследовании ситуативности употребления языка на фоне форм, процессов и интерпретаций речевой деятельности, ср.: [Liedke, Knapp-Potthoff, 1997, S. 9], [Weigand, 1996, p. 151].

Язык и раньше считали погруженным в общество, в общение. Однако с конца 1960-х – начала 1970-х годов росла убежденность, что описание формы и значения (семантики) высказывания вне контекста не исчерпывает еще задачи лингвистики, что лингвист должен описывать и употребление высказывания, особенно когда контекстное значение высказывания не

природы языка, сколько познание исторических и доисторических социальных условий и контактов между народами, т.е. знание, добытое с помощью языка как средства. Но все это также философия. Правда, часто кажется, что, оставаясь в пределах внутренних технических приемов сравнительной лингвистики этого рода, мы изучаем язык, но это только иллюзия. В действительности мы изучаем *disiecta membra*, т.е. разрозненные части языка, которые не позволяют нам охватить язык как целое. Мы изучаем физические и филологические, психологические и логические, социологические и исторические проявления языка, но не сам язык» [Ельмслев, 1943, с. 266]; «Если лингвист хочет уяснить себе объект своей науки, он должен обратиться к областям, считавшимся по традиции чуждыми лингвистике» [Ельмслев, 1943, с. 357].

¹Ср.: «Лингвистика должна попытаться охватить язык не как конгломерат внеязыковых (т.е. физических, физиологических, психологических, логических, социологических) явлений, но как самодовлеющее целое, структуру *sui generis*. Только таким образом как таковой язык может рассматриваться научно, не разочаровывая своих исследователей и не ускользая из их поля зрения» [Ельмслев, 1943, с. 267]; «Признание того факта, что целое состоит не из вещей, но из отношений и что не субстанция, но только ее внутренние и внешние отношения имеют научное существование, конечно, не являются новым в науке, но может оказаться новым в лингвистике. Постулирование объектов как чего-то отличного от терминов отношения является излишней аксиомой и, следовательно, метафизической гипотезой, от которой лингвистике предстоит освободиться» [Ельмслев, 1943, с. 283]; «...лингвистика может и должна изучать языковую форму, отвлекаясь от материала, который может быть подчинен этой форме в обоих планах» [Ельмслев 1943: 335]. В психоанализе Ж. Лакана имеем следующую пропорцию [Foucault, 1988, p. 325]: означающее = означаемое = репрезентация речи: репрезентация предмета = сознание и предсознание: бессознательное.

²Например, автор произведения объявляется фиктивной величиной [Barthes, 1968], [Foucault, 1969]. Так, на место автора у М. Фуко приходит институция (что очень сильно напоминает роль личности в марксистской трактовке истории), затем переосмыслимая как понятие рамки, или фрейма, в философии социологии [Weninger, 1995, p. xii].

совпадает с его семантикой. Прагматическая волна 1970-х годов возродила интерес к функциональности [Kaind I., 1995, p. 16], вот тогда-то и возобновилось противостояние формализма функционализму (отзвукам парадигмы, предшествовавшей формализму)¹. Рецептами для реализации этого прагматического поворота стали, по [Hinrichs, 1989, p. 4], лозунги типа:

- «От теории – к эмпирии»;
- «От структурализма и порождающей грамматики – к анализу устного общения, восприятия речи, особенно понимания»;
- «От лингвистики – к психолингвистике и социолингвистике»;
- «От мелких единиц, типа фонемы и слова, – к крупным единицам, типа обмена репликами и текста»;
- «От монологичности – к диалогичности»;
- «От языковой системы – к тому, что лежит вне системы, случайно и спонтанно в обычном языке разговора»;
- «От интуиции лингвиста – к конкретному и по возможности аутентичному материалу».

Еще одной реализацией этого поворота мысли стала, по [Stegmüller, 1986, p. 64], теория речевых актов Дж. Остина: философам и филологам потребовалось две с половиной тысячи лет, чтобы осознать, что высказывание – это действие.

«Лингвистический поворот» привел к размыванию границ между философией вообще и философией языка, прежде считавшейся лишь разделом первой [Simon, 1981, p. 5]. Одни философы квалифицировали лингвистический поворот в философии (в обоих ответвлениях: у Хайдеггера и у Витгенштейна²) как конец философии, другие – как возникновение новой системной концепции философии, третьи – как необходимость преобразования философии в философскую герменевтику [Baunes, Bohman, McCarthy, 1987, p. 6–7]. Под влиянием этого поворота в исследовательские программы особым пунктом было включено рассмотрение дискурса, трактующего проблемы философии; при этом время от времени философы по-прежнему пытаются вернуться к проблемам субъективности и метафизики [Kress, 1996, p. 10–11].

¹ Это было именно возрождение, а не рождение контрверзы, причем не только в восточноевропейской лингвистике, но и в западноевропейской и американской. Так, известно, что сам термин *социолингвистика* был предложен впервые в работе начала XX в. – [Wrede, 1903]. В 1930-е годы диалектологи говорят о социально-лингвистическом принципе (*sozial-linguistisches Prinzip*) [Bach, 1934/69]. Однако социальные аспекты употребления языка находились раньше на периферии интересов лингвистов [Stevenson, 1995, p. 2], а главное, были методически малодоступны. Нужные методы были предложены прагмалингвистикой и социолингвистикой 1960–1970-х годах.

² Предвозвестником же этого поворота иногда называют Ф. Ницше, поскольку он, как утверждается [Hödl, 1997, p. 13], критиковал метафизику под углом зрения ее языка (особенно метафор).

Языковые техники «презентации» поворота мысли, соответственно, меньше драматизируют переход от одних господствующих представлений к другим. Это мягкое, академичное, неконфронтирующее предложение адресовано прежде всего к собратям по исследованию (и в гораздо меньшей степени – к широким слоям за пределами науки): обратить внимание на то, что, вообще говоря, и раньше принималось во внимание, но просто не тематизировалось «в полный рост».

Заключение

Различные межпарадигмальные переходы – в том числе трансферы знаний – обслуживаются различными же языковыми техниками для демонстрации объяснительной силы, новаторства и превосходства над конкурирующими (предшествующими) теориями, для того чтобы констатировать рождение новой научной эпохи и воспитать новые поколения исследователей в духе этой новой эпохи. Есть языковые техники для демонстрации междисциплинарных и «трандисциплинарных» научных решений, а также для ниспровержения того, что ранее казалось очевидным. Сторонники и популяризаторы новых научных «поворотов» (например, лингвистического поворота в философии) и «волн» (например, прагматической волны в философии языка) используют более мягкие средства, чем «революционеры».

Однако техники презентации, как и когнитивия, которая ими руководит, социальны; когнитивия проявлена в том, как дискурс реализуется в виде текста, а текст интерпретируется в социальном контексте [Демьянков, 2007]. А языковые знания, на которые такая интерпретация опирается, не всеядны. Противоречия и недосказанность в научных текстах не менее редки, чем в обыденной жизни, и наиболее ожидаемы в тех случаях, когда расхожие знания противоречат «революционным» теоретическим положениям.

Список литературы

- Демьянков В.З. Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989.
- Демьянков В.З. Лингвистическая интерпретация текста: Универсальные и национальные (идиотнические) стратегии // Язык и культура: Факты и ценности: К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – С. 309–323.
- Демьянков В.З. Парадигма в лингвистике и теории языка // Горизонты современной лингвистики: Традиции и новаторство: Сборник в честь Е.С. Кубряковой. – М.: Языки славянской культуры, 2009. – С. 27–37.
- Демьянков В.З. Языковые следы трансфера знаний // Когнитивные исследования языка. – М., 2015. – Вып. 23: Лингвистические технологии в гуманитарных исследованиях. – С. 17–29.

- Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. – М.: Иностранная литература, 1960. – Вып. 1. – С. 264–389.
- Телия В.Н.* Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988. – С. 173–204.
- Тулмин С.* Человеческое понимание. – М.: Прогресс, 1984.
- Vach A.* Deutsche Mundartforschung. – 3. Aufl. – Heidelberg: Winter, 1969.
- Baker P.* Deconstruction and the ethical turn. – Gainesville etc.: Univ. press of Florida, 1995.
- Barthes R.* Le degré zéro de l'écriture, suivi d'éléments de sémiologie. – Paris: Seuil, 1968.
- Baynes K., Bohman J., McCarthy T.* General introduction // After philosophy: End or transformation? – Cambridge (Massachusetts); L.: MIT Press, 1987. – P. 1–18.
- Beach L.R.* The psychology of decision making: People in organizations. – Thousand Oaks etc.: Sage, 1997.
- Bergmann G.* Logical positivism, language, and the reconstruction of metaphysics // The linguistic turn: Recent essays in philosophical method. – Chicago; London: Univ. of Chicago, 1967. – P. 63–71.
- Blumenberg H.* Aspekte der Epochenschwelle: Cusaner und Nolaner. – Frankfurt: Suhrkamp, 1976.
- Boudreau H.* Rewriting Unamuno rewriting Galdós // Self-conscious art: A tribute to John W. Kronik. – Lewisburg (Pennsylvania); L.; Toronto: Associated univ. press, 1996. – P. 23–41.
- Bowie A.* From Romanticism to critical theory: The philosophy of German literary theory. – L.; N.Y.: Routledge, 1997.
- Chomsky N.* Rules and representations. – N.Y.: Columbia univ. press, 1980.
- Chomsky N.* On the generative enterprise: A discussion with Riny Hyub Regts and Henk van Riemsdijk. – Dordrecht; Cinnaminson: Foris, 1982.
- Cohen H.* The scientific revolution: Historiographical inquiry. – Chicago; L.: The Univ. of Chicago press, 1994.
- Condit C.M.* Kenneth Burke and linguistic reflexivity: Reflections on the scene of the philosophy of communication in the twentieth century // Kenneth Burke and contemporary European thought: Rhetoric in transition. – Tuscaloosa; L.: The univ. of Alabama press, 1995. – P. 207–262.
- Die Wissenschaftsphilosophie* Thomas S. Kuhns: Rekonstruktion und Grundlagenprobleme / Hoyningen-Huene P. Mit dem Geleitwort v. T.S. Kuhn. – Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg & Sohn, 1989.
- Everitt N., Fisher A.* Modern epistemology: A new introduction. – N.Y. etc.: McGraw-Hill, 1995.
- Feyerabend P.K.* Three dialogues on knowledge. – Oxford: Blackwell, 1991.
- Fornaro M.* Scuole di psicoanalisi: Ricerca storico-epistemologica sul pensiero di Hartmann, Klein e Lacan. – Milano: Universita Cattolica del Sacro Cuore, 1988.
- Foucault M.* L'archéologie du savoir. – Paris: Gallimard, 1969.
- Geier M.* Linguistische Analyse und literarische Praxis: Eine Orientierungsgrundlage für das Studium von Sprache und Literatur. – Tübingen: Narr, 1986.
- George R.T.D., George F.M.D.* Introduction // The structuralists: From Marx to Lévi-Strauss. – Garden City (New York): Doubleday, 1972. – P. xi–xxix.
- Giddens A.* Social theory and modern sociology. – Stanford: California UP, 1987.
- Grewendorf G.* Sprache als Organ und Sprache als Lebensform: Zu Chomskys Wittgenstein-Kritik // Sprachspiel und Methode: Zum Stand der Wittgenstein-Diskussion. – Berlin; N.Y.: Gruyter, 1986. – S. 89–129.
- Haase M.* Galileische Idealisierung: Ein pragmatisches Konzept. – Berlin; N.Y.: Gruyter, 1995.
- Hacker P.M.S.* Wittgenstein's place in twentieth-century analytic philosophy. – Oxford: Blackwell, 1996.
- Heath J.* Functional universals // Proceedings of Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. – Berkeley (California), 1978. – Vol. 4. – P. 86–95.

- Hietala V.* Situating the subject in the film theory: Meaning and spectatorship in cinema. – Turku: Turun Yliopisto, 1990.
- Hinrichs U.* Slawistik – Germanistik – Linguistik // Sprechen und Hören: Akten des 23. Linguistischen Kolloquiums, – Berlin, 1988; Tübingen: Niemeyer, 1989. – S. 3–13.
- Hochberg H.* Logic, ontology, and language: Essays on truth and reality. – München; Wien: Philosophia, 1984.
- Hödl H.G.* Nietzsches frühe Sprachkritik: Lektüren zu «Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne» (1873). – Wien: WUV-Univ. – Verlag, 1997.
- Holton G.* Thematic origins of scientific thought. – Cambridge (Mass.): Harvard univ. press, 1973.
- Hüppauf B.* Das Ich und die Gewalt der Sinne: Döblin – Musil – Mach // Wer sind wir?: Europäische Phänotypen im Roman des zwanzigsten Jahrhunderts. – München: Fink, 1996. – S. 115–152.
- Kaindl K.* Die Oper als Textgestalt: Perspektiven einer interdisziplinären Übersetzungswissenschaft. – Tübingen: Stauffenburg, 1995.
- Kamm J.* Rules and methods: Die Grammatikalisierung von Sprach- und Dichtungstheorien im England des 17. Jahrhunderts // Barock. – Stuttgart; Weimar: Metzler, 1995. – S. 25–51.
- Kitcher P.* The naturalist return // Philosophical Review. – 1992. – Vol. 101, N 1. – P. 53–114.
- Koyré A.* Von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum. – Frankfurt: Suhrkamp, 1980.
- Kress A.* Reflexion und Erfahrung: Hegels Phänomenologie der Subjektivität. – Würzburg: Königshausen & Neumann, 1996.
- Kuhn T.S.* The structure of scientific revolutions. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1962.
- Kuhn T.S.* The structure of scientific revolutions. – 2 nd ed. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1973.
- La grammaire générale des modistes aux ideologues / Joly A.F., Stéfani J. (éds.)* – Lille, 1977.
- Lakatos I.* Falsification and the methodology of scientific research programmes // Criticism and the growth of knowledge. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1970. – P. 91–195.
- Lanigan R.L.* Phenomenology of communication: Merleau-Ponty's thematics in communicology and semiology. – Pittsburgh: Duquesne univ. press, 1988.
- Lewin K.* Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Biologie und Psychologie // Erkenntnis. – Leipzig, 1930/31. – Bd. 1. – S. 421–466.
- Liedke M., Knapp-Pothoff A.* Einleitung // Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit. – München: ludicum, 1997. – S. 7–16.
- Lightfoot D.* Principles of diachronic syntax. – Cambridge, etc.: Cambridge univ. press, 1979.
- Nagel T.* The view from nowhere. – N.Y.; Oxford: Oxford univ. press, 1986.
- Nagel T.* Other minds: Critical essays 1969–1994. – N.Y.; Oxford: Oxford univ. press, 1995.
- Nef F.* Logique, langage et réalité. – Paris: Editions universitaires, 1991.
- Neuser W.* Natur und Begriff: Zur Theoriekonstitution und Begriffsgeschichte von Newton bis Hegel. – Stuttgart; Weimar: Metzler, 1995.
- Olafson F.A.* What is a human being?: A Heideggerian view. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1995.
- Padley G.* Grammatical theory in Western Europe 1500–1700: Trends in vernacular grammar I. – Cambridge etc.: Cambridge univ. press, 1985.
- Pearce D., Rantala V.* Continuity and scientific discovery // Logic of discovery and logic of discourse. – N.Y.; L.; Ghent: Communication and cognition, 1985. – P. 15–23.
- Percival W.K.* The applicability of Kuhn's paradigms to the history of linguistics // Language. – 1976. – Vol. 52, N 2. – P. 285–294.
- Preston J.* Feyerabend: Philosophy, science and society. – Cambridge: Polity Press, 1997.
- Redding P.* Hegel's hermeneutics. – Ithaca; L.: Cornell univ. press, 1996.
- Reiss T.J.* Knowledge, discovery and imagination in early modern Europe: The rise of aesthetic rationalism. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1997.

- Rorty R.M.* The linguistic turn: Recent essays in philosophical method. – Chicago: Chicago univ. press, 1967.
- Rorty R.M.* Philosophy and the mirror of nature. – Oxford: Blackwell, 1980.
- Rossi P.* Der Wissenschaftler // Der Mensch des Barock. – Frankfurt; N.Y.: Blackwell; Paris: Maison des Sciences de l'Homme, 1997. – P. 264–295.
- Sahlins M.D.* How «natives» think: About Captain Cook, for example. – Chicago; L.: The univ. of Chicago press, 1995.
- Searle J.* Contemporary philosophy in the United States // The Blackwell companion to philosophy. – Oxford: Blackwell, 1996. – P. 1–24.
- Shorter E.* A history of psychiatry: From the era of the asylum to the age of Prozac. – N.Y. etc.: Wiley, 1997.
- Simon J.* Sprachphilosophie. – Freiburg; München: Alber, 1981.
- Siegmaier W.* Die Innovation der Gegenwart // Tradition und Innovation: XIII. Deutscher Kongress für Philosophie, Bonn 24–29. September 1984. – Hamburg: Meiner, 1988. – S. 59–69.
- Stegmüller W.* Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie: Eine kritische Einführung: – 7, erw. Aufl. – Stuttgart: Kröner, 1986. – Bd. 2.
- Stegmüller W.* Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie: Eine kritische Einführung: – 7, erw. Aufl. – Stuttgart: Kröner, 1986. – Bd. 3.
- Stevenson P.* The study of real language: Observing the observers // The German language and the real world: Sociolinguistic, cultural, and pragmatic perspectives on contemporary German. – Oxford: Clarendon, 1995. – P. 1–23.
- Stoziar R.M.* Saussure, Derrida, and the metaphysics of subjectivity. – Berlin etc.: Mouton de Gruyter, 1988.
- Truptia P.* Die Semantik der Kommunikation: Die Schaffung von Sinngehalten in Kunst, Wissenschaft und bei der Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit / Übers. aus dem Ital. – Berlin: Duncker und Humblot, 1997.
- Ullmann S.* Language and style: Collected papers. – Oxford: Blackwell, 1964.
- Ward G.* Barth, Derrida and the language of theology. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1995.
- Weigand E.* Words and their role in language use // Lexical structures and language use: Proc. of the International Conference on lexicology and lexical semantics, Münster, September 13–15, 1994. – Tübingen: Niemeyer, 1996. – P. 151–167.
- Weninger R.* Framing a novelist: Arno Schmidt criticism 1970–1994. – Columbia: Camden, 1995.
- Wilkin P.* Noam Chomsky: On power, knowledge and human nature. – L.: Macmillan, 1997.
- Williams B.* Descartes: The project of pure inquiry. – Harmondsworth: Penguin, 1978.
- Wrede F.* Der Sprachatlas des deutschen Reiches und die elsässische Dialektforschung // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. – Berlin, 1903. – Bd. 111. – S. 29–48.
- Wright G.H. von.* Explanation and understanding. – Ithaca; New York: Cornell univ. press, 1971.